

ИВ. ШМЕЛЕВ

ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

•

1955

КАК Я ВСТРЕЧАЛСЯ С ЧЕХОВЫМ

I. За карасями

Это были встречи веселые, в духе рассказов Антоши Чехонте. Чехов был тогда еще А. Чехонте, а я — маленьким гимназистом. Было это в Москве, в Замоскворечьи.

В тот год мы не ездили на дачу, и я, с Пиуновским Женькой, — упокой, Господи, его душу: пал на Карпатах, сдерживая со своим батальоном напор австрийской дивизии, за что награжден посмертно Св. Георгием, — днями пропадал в Нескучном. Мы строили вигвамы и вели жизнь индейцев. Досыта наострившись на индейцах, мы перешли на эскимосов и занялись рыболовством, в Мещанском Саду, в прудах. Так назывался сад при Мещанском Училище, на Калужской. Еще нечищенные тогда пруды славились своими карасями. Ловить посторонним было воспрещено, но Веревкин Сашка, сын училищного инспектора, был наш приятель, и мы считали пруды своими. В то лето карась шел, как говорится, дуром: может быть чуял, что пруды скоро спустят, и всё равно погибать, так лучше уж погибать почетно. Женька так разъярился, что оттащил к букинисту латинский словарь и купил «дикобразово перо» — особенный поплавок, на карасей. Чуть заря — мы уже на прудах, в заводинке, густо заросшей «гречкой», где тянулась проточина, — только-только закинуть удочку. Женька сделал богатую прикормку — из горелых корок, каши и конопли, «дикобразово перо» делало чудеса, и мы не могли пожаловаться. Добычу мы сушили, и толкли питательный порошок или, по индейски, — пеммикан, как делают это эскимосы.

Было начало июня. Помню, идем по зорьке, еще безлюдным садом. В верхушках берез светится жидким золотцем, кричат грачата, щебечут чижики по кустам, и слышно уже пруды: тянет теплом и тиной, и видно между березами в розоватом туманце воду. Только рыболовы знают, что творится в душе, когда подходишь на зорьке к заводинке, видишь смутные камыши, слышишь сонные всплески рыбы, и расходящийся круг воды холодком заливает сердце.

— А, чорррт!.. — шипит, толкая меня, Женька, — сидит какой-то... соломенная шляпа!..

Смотрим из-за берез: сидит — покуривает, удочки на рогульках, по обе стороны. Женька шипит: «пощупаем, не браконьер ли?» Но тут незнакомец поднимается, высокий, голенастый, и — раз! тащит громадного карасищу, на-шего, черноспинного, чешуя в гривенник, и приговаривает, баском таким: «иди, голубчик, не упирайся», — спокойно так, мастера сразу видно. И кому-то кричит налево: «видали, каков лапоток?» А это, сбоку, под ветлами, Кривоносый ловит, воспитатель училищный. А незнакомец на кукан карася сажает, прутик в рот карасю просунул, бичевочку под жабры, а на кукане штуки четыре, чисто подлещики, с нашей прикормки-то. Видим — место всё неудобное, ветлы, нельзя закинуть. И Кривоносый тащит — красноперого, золотого, бочка оранжевые, чуть с чернью. А карасище идет, как доска, не трепыхнется. Голенастый, в чесучевом пиджаке, в ладоши даже захлопал: «не ожидал какое тут у вас рыбье эльдорадо! буду теперь захаживать». Смотрим — и на другой удочке тюкает, повело... Женька шипит — «надо какие-нибудь меры... самозванцы!» А незнакомец выволок золотого карасищу, обеими руками держит и удивляется: «не карась, золотая медаль!» Сердце у нас упало. А Кривоносый орет — «а у меня серебряная, Антон Павлыч!..» А незнакомец опять золо-

того тащит... — и плюнул с досады в воду: плюхнулся карасище, как калоша. Ну, слава тебе, Господи!

Подошли поближе, уж невтерпеж, Женька рычит: «а, плевать, рядом сейчас закину». Смотрим... — чу-уть поплавок, ветерком будто повело, даже не тюкнуло. Знаем — особенное что-то. И тот, сразу насторожился, удочку чуть подал, — мастера сразу видно. Чуть под-сек, — так там и заходило. И такая тишь стала, словно все померли. А оно — в заросли повело. Тот кричит: «не уйдешь, голуба... знаю твои повадки, фунтика на два, линь!..» А линей отродясь тут не было. Стал вы-водить... — невиданный карасище, мохом совсем зарос, золотце чуть проблескивает. А тот в воду ступил, схватил под жабры и выкинул, — тукнуло, как кирпич. Ки-нулись мы глядеть, и Кривоносый тут же. Голенастый вывел из толстой губы крючок, — «колечко» у карасины в копейку было, гармонья словно! — что-то на нас при-щурился и говорит Кривоносому, прыщавому, с усмеш-кой: «меща-не караси у вас, сразу видно!» А Кривоно-сый спрашивает, почтительно: «это в каком же смысле... в Мещанском пруду-с?» А тот смеется, приятно так: «благородный карась любит ловиться в мае, когда че-ремуха... а эти видно, Аксакова не читали». Приятным таким баском. Совсем молодой, усики только, лицо про-стое, словно у нашего Макарки из Крымских бань. — «А вы, братцы, Аксакова читали?» — нам-то, — «что же вы не зажариваете?..» Женька напыжился, подборо-док втянул, и басом, важно: «зажарим, когда поймает». А тот вовсе и не обиделся: «молодец, — говорит, — за словом в карман не лезет». А Женька ему опять: «мо-лодец в лавке, при прилавке!» — и пошел направо, на меня шипит: «девчонка несчастная, а еще «Соколиное перо», чорт... сказал бы ему, наше место, прикормку бросили!» Стали на место, разматываем. Ветлы нависли сажени на две от берега, чуть прогалец, поплавку упасть только-только.

Размахнулся Женька, — «дикообразово перо» в самом конце и зацепилось, мотается, а мотыль-наживка над самой водой болтается. А там опять карасищу тащут! Женька звонил-звонил, — никак отцепить не может, плещет ветками по воде, так волны и побежали. — «Плевать, всех карасей распугаю, не дам ловить!» А «дикообразово перо» пуще еще запуталось. Незнакомец нам и кричит: «ну, чего вы там без толку звоните! ступайте ко мне, закидывайте, места хватит!» А Женька расстроился, кричит грубо: «заняли наше место, с нашей прикормки и по-льзуйтесь!» И всё звонит. А незнакомец, вежливо так: «что же вы не сказали? у нас, рыболовов, правила чести строго соблюдаются... прошу вас, идите на ваше место... право, я не хотел вам портить!» А Кривоносый кричит — «чего с ними церемониться! мало их по-роли, грубиянов... на чужой пруд пришли — и безобразничают еще. По какому вы праву здесь?» А Женька ему свое: «по веревкинскому, по такому!» Кривоносый и прикусил язык.

А клевать перестало, будто отрезало: распугал Женька карасей. Похлестали они впустую, незнакомец и подошел к нам. Поглядел на нашу беду и говорит: «Не снять. У меня запасная есть, идите на ваше место», — и дает Женьке леску, с длинным пером, на желобок намотано, — у Перешивкина продается, на Маховой. — «Всегда у нас, рыболовов, когда случится такое...» — потрепал Женьку по синей его рубаше, по «индейской»: — «уж не сердитесь...» Женька сразу и отошел. — «Мы, говорит, не из жадности, а нам для пеммикана надо». — «А-а, — говорит тот, — для пеммикана... будете сушить?» — «Сушить, а потом истолком в муку... так всегда делают индейцы и американские эскимосы... и будет пеммикан». — «Да, говорит, понимаю ваше положение. Вот что. Мне в Кусково надо, карасей мне куда же... возьмите для пеммикана». Вынул портсигар и угощает: «не выкурят ли мои краснокожие братья со мною трубку

мира?» Мы курили только «тере-тере», похожее на березовые листья, но всё-таки взяли папироску. Сели все трое и покурили молча, как всегда делают индейцы. Незнакомец ласково поглядел на нас и сказал горлом, как говорят индейцы: «Отныне мир!» — и протянул нам руку. Мы пожали, в волнении. И продолжал: — «Отныне, моя леска — твоя леска, твоя прикормка — моя прикормка, мои караси — твои караси!» — и весело засмеялся. И мы засмеялись, и всё закружилось, от куренья.

Потом мы стали ловить на «нашем» месте, но клевала всё мелочь, «пятачишки», как называл ее наш «бледнолицый брат». Он узнал про «дикообразово перо», и даже про латинский словарь, пошел и попробовал отцепить. Но ничего не вышло. Всё говорил: «как жаль, такое чудесное «дикообразово перо» погибло!» — «Нет, оно не погибнет!» — воскликнул Женька, снял сапоги и бросился в брюках и в синей своей рубахе в воду. Он плыл с перочинным ножом в зубах, как всегда делают индейцы и эскимосы, ловко отхватил ветку и поплыл к берегу с «дикообразовым пером» в зубах. — «Вот!» — крикнул он приятному незнакомцу, отныне — брату: — «задача решена, линия проведена, и треугольник построен!» Это была его поговорка, когда удавалось дело. — «Мы будем отныне ловить вместе, заводь будет расчищена!» Брат бледнолицый вынул тут записную книжечку и записал что то карандашиком. Потом осмотрел «дикообразово перо» и сказал, что заведет и себе такое. Женька, постукивая от холода зубами, сказал взволнованно: «отныне «дикообразово перо» — ваше, оно принесет вам счастье!» Незнакомец взял «дикообразово перо», прижал к жилету, сказал по-индейски — «попо-кате-петль!», что значит «Великое Сердце», и положил в боковой карман, где сердце. Потом протянул нам руку и удалился. Мы долго смотрели ему вслед.

— Про-стяга! — взволнованно произнес Женька, высшую похвалу: он не бросал слова на ветер, а запира

их «забором зубов», как поступают одни благородные индейцы.

Мимо нас прошел Кривоносый и крикнул, тряся пальцем:

— Отвратительно себя ведете, а еще гимназисты! Доведу до сведения господина инспектора, как вы грубили уважаемому человеку, больше вашей ноги здесь не будет, попомните мое слово!

Женька крикнул ему вдогонку: «мало вас драли, грру-биянов» — сплюнул и прошипел: «бледнолицая с-соба-ка!..»

Припекло. От Женьки шел пар, словно его сварили и сейчас будут пировать враги. Пришел Сашка Веревкин и рассказал, что незнакомец — брат надзирателя Чехова, всю ночь играл в винт у надзирателей, а потом пошли ловить карасей... что он пишет в «Будильнике» про смешное, — здорово может прохватить! — а подписывает, для смеха, — Антоша Чехонте. А Кривоногого выгонят, только пожаловаться папаше, — «записано в кондунте про него — «был на дежурстве не в порядке, предупреждение». Женька сказал: «чорт с ним, не стоит». Он лежал на спине, мечтал: нежное что то было в суровом его лице.

Случилось такое необычное в бедной и неудобной жизни, которую мы пытались наполнить как-то... нашим воображением. Многого мы не понимали, но сердце нам что-то говорило. Не понимали, что наш «бледнолицый брат» был, по истине, нашим братом в бедной и неудобной жизни и старался ее наполнить. Я теперь вспоминаю, из его рассказов, — «Монтигомо», Ястребиный Коготь...» — так, кажется?..

Июль, 1934 г.

Алемон.

II. Книжники... но не фарисеи

На Рождество пришли к нам славить Христа «батюшки» из Мещанского училища. Пришли, как всегда, к ночи, но не от небрежения, а по причине служебного положения: надо обойти весь служебный и учительский персонал и объехать всех господ членов Попечительского Совета, всех почетных членов и жертвователей, а это всё люди с весом — коммерции и мануфактур-советники. Значится-то как на сооружении-ковчеге нашем? — «Московского Купеческого Общества Мещанские Училища и Богадельня»! И везде надо хоть пригубить и закусить.

Отец протоиерей и дьякон Сергей Яковлевич люди достойные, и строгой жизни, но теперь, после великого обхода и объезда, необыкновенно веселые и разговорчивые. Батюшка принимает стакан чаю со сливками, но отказывается даже от сухарика: пере-полнен! Дьякон, после упрасиваний, соизволяет принять мадерцы, и принимает размашисто, цепляя елку, и она отвечает звяканьем и сверканьем по зеркалам. Батюшка говорит со вздохом: «мадерца-то, мадерца-то как играет о. дьякон!» А о. дьякон в смущении отвечает: «да, приятная елочка». Замечает на рояли новенький «Вокруг Света» и начинает просматривать.

— Замечательный журнальчик братья Вернеры придумали! Увлекательное чтение, захватывающее. Тоже увлекаетесь? — спрашивает меня. — «Остров Сокровищ» печатался... роман Стивенсона! Не могу забыть «морского волка», на деревянной ноге! Мо-рроз по коже...

— Был случай в одном приходе... — говорит батюшка, — надо «Восстаните», всенощную возглашать, а о. дьякон на окошке, у жертвенника, одним глазом «Вокруг Света» дочитывает, про сокровища. Вот, увлечение-то до чего доводит.

Все смеются, и громче всех о. дьякон.

— Или, возьмите, Луи Жаколио, — «В тущобах Ин-дии»! Всё иностранцы пишут, наши так не умеют. Или Луи Боссенара, — «Черные Флаги», кажется... про китайских пиратов?!. Мороз по коже!..

Глухая старушка-родственница переспрашивает: — «про китайского императора?» — и все смеются. Дьякон перелистывает журнал и говорит, что сейчас дома разоблачится и предастся увлекательному чтению, — и ему принесли новенький номерок, да не успел еще и взглянуть. Рассказывает, что и «Сверчок» получает, тоже Вернеры издают, на ве-ле-невой бумаге! И какой же случай! Как раз сегодня имел честь познакомиться с писателем, который пописывает в сем «Сверчке», остроумно пописывает, но далеко не так увлекательно, как Стивенсон или Луи Буссенар. Но, надо сказать, человек наи-остроумнейший. И что же оказывается: братец ихнего надзирателя Чехова, какое совпадение! Но подписывается из скромности — А. Чехонте.

— Были у г. инспектора, Ивана Петровича Вережкина. У стола нас и познакомили, Иван Петрович друг другу нас представил. А он, прямо, зачитывается! И «Будильник» еще выписывает, и там тоже г. Чехонте пописывает. Чокнулись с ним мадерой Депре-Леве, я и позволил себе заметить, что вот, почему наши писатели не могут так увлекательно, как иностранцы? Мороз, говорю, по коже! А он... остроумнейший человек! — так это прищурился и говорит: «погодите, о. дьякон, я такой роман напишу, что не только мороз по коже, а у вас волосы дыбом встанут!» Так все и покатились. И так вот, руками над головой... про волосы.

Я представил себе, как встанут дыбом волосы у о. дьякона, — а у него волосы были, как хвост у хорошего коня, — и тоже засмеялся. И о. дьякон загоготал, так что батюшка опять попробовал сдерживать, говоря: «матерца-то что, о. дьякон, делает!»

— Одобрил я его, комплимент сказал даже, как он изобразил дьякона в баньке. Ну, до чего же то-нко и остроумно! Нет, далеко до него Мясницкому или, даже, Пазухину. И какой же конфуз вышел, там же у инспектора... Опять мы с ним чокнулись, для знакомства... ах, компанейский человек-душа! — взял он финик со стола, чай мы пить стали... и говорит, скорбно так: «и почему у нас не сажают фиников! а могли бы, и даже на Северном Полюсе!» Так все заинтересовались. Да как же можно, ежели наш суровый климат не позволяет? А он пенсне надел, лицо такое вдумчивое, и говорит: «Очень просто, послать туда... секретаря консистории или хорошего эконома! никто лучше их не сумеет *нагреть* — !! — местечка!..» В лоск положил всех, животики надорвали. Великий остроумец.

На прощанье дьякон сказал, что у них в библиотеке имеется и книжечка г. Чехонте, — «Сказки Мельпомены», — ударение на «о», — от самого писателя дар.

— Забавные историйки, про артистов. Но, правду сказать, не для нашего с вами чтения. Нам вот про «Остров сокровищ»... про пиратов бы!..

И опять зацепил елку рукавом. И елка, и все мы засмеялись.

Я знал, про кого рассказывал о. дьякон: про нашего «брата-бледнолицего», которому Женька подарил летом «дикобразово перо». Осталось во мне об этом приятное воспоминание. На всякий случай я записал название книжечки, чтобы взять ее из «мещанской» библиотеки, где мы были своими людьми, благодаря Сашке Верекину, сыну инспектора.



Как-то зимой, в воскресенье, Сашка позвал нас с Женькой есть горячие пироги с кашей. Мещанское училище славилось своими пирогами. Идешь, бывало, от обедни, спускаешься по чугунной лестнице, а в носу так щекочет пирогами с кашей. По улице даже растекается: «эх, пироги пекут!» Всем обитателям белых корпусов-гигантов, — а обитателей было не меньше тысячи, — полагалось в праздник по хорошему, подовому пирогу. Говорили, что есть особенный капитал — «пирожный», оставленный каким-то купцом, на вечные времена, «дабы поминали пирогами». И поминали неукоснительно.

Идем мы по длинным коридорам, видим огромные столовые, длинные в них столы, уставленные кружками с чаем, и у каждой кружки — по большому пирогу с кашей, — дымятся даже. И мальчики, и девочки, и призреваемые старички и старушки, все прибавляют шагу — на пироги. Взяв по горячему пирогу в буфетной, мы едим на ходу, рассыпая кашные крошки на паркетные и асфальтовые полы. Разыскиваем бородатого библиотекаря Радугина, который тоже у пирогов. По праздникам и библиотекарь отдыхает, но для Сашки закон не писан. Радугин, говорят, у надзирателей. Идем в надзирательский коридор. И тут тоже пахнет пирогами. Сашка входит в огромную комнату, разделенную перегородками на стойла. В самом заднем слышится смех и восклицания. Сашка входит, а мы затаиваемся у двери. В щель всё-таки отлично видно: за столиком у окна сидят надзиратели без сюртуков и... наш «бледнолицый брат»! — брат надзирателя Чехова. Женька шепчет: «спросить бы, как мое «дикобразово перо»... здорово, небось?» Сашка валится на диван и ест надзирательский пирог. Радугин дает ему ключи от библиотечных шкапов, но Сашка и

не думает уходить. И мы не думаем: щелкает соловей, самый настоящий соловей! А это Кривоносый, регент, шутки свои показывает. Писатель Чехонте сидит в пиджаке, слушает Кривоносого, и тоже ест пирог с кашей, стряхивая с брюк крошки. Кривоносый начинает скрипеть и трещать скворцом, — ну, прямо, живым скворцом! Писатель даже в ладоши хлопает и говорит приятным таким баском: браво, брави-ссимо! — «А можете жаворонком?» — спрашивает. — «А вот... «на солнце темный лес зардел...» — говорит прыщавый Кривоносый: и начинает петь жаворонок, нежно-нежно, самое тихое журчанье! Потом представляет чижику, индюшку, выфьекивая, как самая настоящая индюшка: «Фье-дор, Фье-дор... я озя-бла... купи-башмаки!» И уточку — «купи-коты, купи-коты». И — удивительно, дух даже захватило, — «майский вечер». Сидит на террасе помещик и слушает «майскую симфонию»: кричат лягушки в пруду: «Варварrrр-ра... полюби Уварrrр-ра» — а Варвара ругается: «вар-варrrр! вар-варrrр!» Все покатываются, а мы с Женькой прыскаем за дверь. Чехонте, «бледнолицый брат», просит еще что-нибудь. Кривоносый, — откуда только, у прыщавого! — говорит: «Весенний вечер, пруд засыпает, камыши спят...» — «Нет, каков Кривоносый-то! мо-ло-дчи-на!.. не зна-ал...» — шипит Женька, возненавидевший Кривоносого за его «мало вас драли, грубиянов!» — «И вот», — продолжает Кривоносый, выпивая предложенную ему рюмочку, — и вот, камышевка, безхвостая птичка, во всём мире теперь одна, бессонная... спрашивает другую, на другом конце озера: «Ты-тита-видел? ты-тита-видел?..» А та, в том же тоне, отвечает: «видел-видел-видел... пить-пить-пить!..» — И по сему случаю... Все выпивают и закусывают пирогами с кашей. Так бы вот и стоял, и слушал этого прыщавого Кривоносого, регента. А Сашка-дурак уже прет с ключами: идем, ребята!

Мы роемся в огромных шкапах великой «мещан-

ской» библиотеки, — учительской. Библиотека знаменитая: много жертвовали купцы на просвещение, отказывали «книжные капиталы» и целые библиотеки. Отказывали и призревавшие старички, старушки, — порой, старинные, редкостные книги. Я уже отчитал «приключения» и теперь дочитываю исторические романы. Сашка отпирает нам все шкапы и уходит раздобыть еще пирогов. Мы роемся в богатствах, как мыши в мучном лабазе. Женька отыскивает — «еще про Наполеона». Он читает теперь только «военное», остальное — «всё болтовня». Мы накладываем по горке книг, до следующего воскресенья, как раздаётся басистый голос: «вот оно, самое-то книгохранилище! И тут пирогами пахнет». Входит Сашка с грудой пирогов у груди, придерживая их рукой; в другой руке у него графин квасу, «мещанского», который тоже славится, как и пироги. В высоком молодом человеке с открытым лицом, в пенсне, мы узнаем «братабледнолицего», и стесняемся есть при нем. А Сашка говорит без стеснения:

— Хотите, Антон Павлыч?

— Можно, люблю пироги... замечательные ваши пироги, подовые... — говорит «брат», берет из красной Сашкиной лапы поджаристый пирог и начинает есть, роняя сыпучую начинку. И мы начинаем есть. Приходит русобородый Радугин, Сергей-тоныч, как называют его мальчишки, — Сергей Платонович, — и еще высокий худощавый надзиратель, брат «бледнолицего», и начинают выбирать книги.

— Всё к вашим услугам, Антон Павлович, — предупредительно говорит библиотекарь, — только вы, небось, всё уж прочитали.

— А вот, посмотрим, где же всё прочесть. Много читано... Бывало, таким вот был... — показывает он к нам пальцем, взглядывая, прищуриваясь, через пенсне, — в неделю по аршину читал.

— То-есть, как по аршину? — не понимает Радугин, и мы не понимаем.

— А так. В неделю с краю аршин отхватишь... понимаете, книг? в городской библиотеке, что попадется. У нас за библиотекаря один старичок был, временно заведывал... всё, бывало, кожаные калоши чистил. Как ни забежишь, все он калоши начищает. И всегда почему-то Костомарова предлагал читать. Просишь Тургенева, или там Диккенса, а он всё: «да вы бы Костомарова-то читали! Фамилия должно быть, нравилась. Так вот, понимаете... надоели ему записочками... надо по записочкам искать книги, он и — «да чего там записочки, отхватывай с того уголка помаленьку, так всю читальню и прочитаешь. А лучше бы Костомарова читал!» Вот я и отхватывал по аршинчику в неделю... очень интересно выходило, все книжки перемешаны были, всякие неожиданности получались.

И он ласково посмеялся, глядя на нас с прищуром. Мне опять понравилось добродушное его лицо, такое открытое, простое, как у нашего Макарки из бань, только волосы были не ежом, а волнисто зачесаны назад, как у о. дьякона. Вскидывая пенсне, он вдруг обратился к нам:

— А, господа рыболовы... братья-краснокожие! — сказал он, с усмешливой улыбкой, — вот где судьбе угодно было столкнуть нас лицом к лицу... — выговорил он особенным, книжным, языком. — Тут мы, кажется, не поссоримся, книг вдоволь.

Мы в смущении молчали теребя пояса, как на уроке.

— А ну, посмотрим, что вы предпочитаете. Любите Жюль-Верна? — обращается он ко мне.

Я отвечаю робко, что уже прочитал всего Жюль-Верна, а теперь... Но он начинает допрашивать:

— Ого! А Густава Эмара, а Фенимора Купера?.. Ну-ка, прокзаменуем краснокожих братьев... что читали из Густава Эмара?..

И я начинаю перечислять, как по каталогу, — я хорошо знал каталоги: Великий предводитель Аукасов, Красный Кедр, Дальний Запад, Закон Линча, Эльдorado, Буа-Брюле, или Сожженные Леса, Великая Река...

Он снял пенснэ и слушал с улыбкой, как музыкант слушает игру ученика, которым он доволен.

— Ого! — повторил он значительно. — А что из Майн-Рида прочитали? — и он хитро прищурился.

Я был польщен, что такое ко мне внимание: ведь не простой это человек, а пописывает в «Сверчке» и в «Будильнике», и написал даже книгу — «Сказки Мельпомены». И такой, замечательный, спрашивает меня, знаю ли я Майн-Рида!

Я чеканил, как на экзамене: Охотники за черепами, Стрелки в Мексике, Водю по лесу, Всадник без головы... Он покачивал головой, словно отбивал такт. Потом пошел Фенимор Купер, Капитен Марриэт, Ферри. Когда я так чеканил, Женька сзади шипел: «и всё-то врет... половины не читал!». Ему, конечно, было досадно, что занимаются только мной. Робинзона? Я даже поперхнулся. Робинзона Крузо?! Я читал обоих Робинзонов: и такого, и швейцарского... и еще третьего, Лисицына! Он, должно быть, не ожидал, — снял пенснэ и переспросил прищурясь:

— Это какого... Лисицына?

— А «Русский Робинзон... Лисицын»! Это редкая книга, не во всякой даже библиотеке...

И я принялся рассказывать, как Лисицын, купец Лисицын, построил возле Китая крепость и стал завоевывать Китай... притащил пушку и... всё один! Он остановил меня пальцем, и сказал таращившему глаза Радугину, есть ли у них «про этого купца Лисицына»? Тот чего-то замаялся: как всегда, ничего не знал, хоть и библиотекарь. Я за него ответил, что здесь Лисицына нет, но можно его найти на Воздвиженке, в библиотеке Бес-

соновых, «бывш. Ушаковой», да и то растрепанного, с разорванными картами и планами. Он сказал — «вот, знаток-то!» — и спросил, сколько мне лет. Я ответил, что скоро будет тринадцать. И опять Женька зашипел: «и всё-то врет!» Но я нисколько не врал, а мне, действительно, через десять месяцев должно было исполниться тринадцать.

— Ого! — сказал он, — вам пора переходить на общее чтение.

Я не понял, что значит — «общее чтение».

— Ну-с... с индейцами мы покончим. А как, Загоскина?..

Я ему стал отхватывать Загоскина, а он рассматривал в шкапу книги.

— А... Мельникова-Печерского?

Я видел, что он как раз смотрит на книги Мельникова-Печерского, и ответил, что читал и «В лесах» и «На горах», и...

— «На небесах»?.. — посмотрел он через пенсне.

Я хотел показать себя знатоком и сказал, что читал и «На небесах», но что то удержало. И я сказал, что этого нет в каталогах.

— Верно, — повторил он, прищурясь: — э-того... нет в каталогах. Ну, а читали вы романы про... Кузьмов?

— Про Кузьмов?.. Я почувствовал, не подвох ли: случается это на экзаменах. Про Кузьмов?.. Он повернулся к Радугину, словно спрашивал и его. Тот поглаживал золотистую бороду и тупо смотрел на шкаф.

— Не знаете... А есть и про Кузьмов. Два романа есть про Кузьмов. Когда я был вот таким, — показал он на меня пальцем, — у нас, в городской библиотеке, сторож-старичок был, иногда и книги выдавал нам... говорил, бывало: «две книжки про Кузьмов были, и обе украли! читальщики спрашивали — дай про Кузьмов! — а их украли». А есть... про Кузьмов! Ну, знаток, кто знает... про Кузьмов?

Меня осенило, и отчетливо, словно на стене написалось, выплыло: «Кузьма Петрович Мирошев, или Русские в... году»?.. «Кузьма Рошин»?..

— Загоскина?.. сказал я, а Женька шипел мне в ухо: «врешь, Кузьма Минин!»

— Bravo! сказал экзаменатор, сдергивая пенснэ, и пообещал устроить меня старшим библиотекарем Румянцевского музея, — непременно уж похлопочет.

Он не знал, что я мог бы отхватить ему наизусть весь каталог «романов, повестей, рассказов и проч.» ушаковской библиотеки, — Авсеенко, Аверкиева, Авенариуса, Авдеева, Ауэрбаха... всех Понсондютерей, Поль де Коков, Ксавье де Монтепенгов... русских и иностранных, которых, правда, я не читал, но по заглавиям знал отлично, так как чуть ли не каждый день сестры гоняли на Воздвиженку менять книги.

Сказав — «на пять с плюсом», экзаменатор принялся за Женьку, назвав его «краснокожим братом»: помнил! Женька напыжился и сказал в подбородок, басом:

— Я пустяков не читаю, а только одно военное... про Наполеона, Суворова, Александра Македонского и проч...

Так и сказал: «и проч»... — и соврал: недавно показывал мне книгу — «Английские камелии» и сказал: «а тебе еще рано, мо-ло-ко-сос!»

— Ну, будете героем! — сказал «бледнолицый брат».

Прошло тридцать лет... и Пиуновский, Женька — стал героем.

— А ваше «дикообразово перо»... — всё помнил! — действительно принесло мне счастье: целого леща поймало в Пушкине! Всегда с благодарностью вспоминаю вас.

Женька переступил с ноги на ногу, подтянул подбородок и перекосил пояс, засунув руку, как всегда у доски в гимназии.

— Вот, — обратился *он* к зевавшему в свою бороду Радугину, — настоящие то книжники! Книжники... но не фарисеи! А есть у вас известная книга, Дроздова-Перепелкина... «Галки, вороны, сороки и другие певчие птицы»?

Радугин вдумчиво поглядел на полки.

— Кажется, не имеется такой. Впрочем, я сейчас, по каталогу...

— Да нет, это же я шучу... — засмеялся *он*. — Это только у дедушки Крылова ворона поет, а в каталогах где же ей.

Все весело засмеялись... Я осмелился и сказал:

— Отец дьякон мне говорил... Сергей Яковлевич... у вас книжка написана, «Сказки Мельпо-мены»? Я непременно прочитаю.

— Есть, — улыбнулся *он*, — только не Мельпо-мены, а Мельпо-мёны, на «ме» ударение. Не стоит, неинтересно. Вот когда напишу роман — «О чем пела ворона», тогда и почитаете... это будет поинтересней. Есть же роман — «О чем щебетала ласточка»...

— Шпильгагена! — сказал я.

— Непременно похлопочу, в Румянцевский музей.

Он еще пошутил, набрал книг и пожелал нам с Женькой прочесть все книги, какие имеются на свете. Я почувствовал себя так, словно я выдержал экзамен. И было грустно, что кончилось.

Была лавочка Соколова, на Калужской, холодная, без дверей, закрывавшаяся досками на ночь. В ней сидел Соколов, в енотовой шубе, обвязанный красным жгутом по воротнику. Из воротника выглядывало рыжее лицо с утиным носом, похожее на лисью морду. Всегда ворчливый, — «и нечего тебе рыться, не про тебя!» — он

вырывал у меня из рук стопочки книжек-листочков, — издания Леухина, Манухина, Шарапова и Морозова... Стоишь, бывало, зажав в кулаке пятак, топаешь от мороза, перебираешь — смотришь: какое же богатство! В лавочке были перышки, грифельки, тетрадки... но были и книжки в переплетах, и даже «редкостные», которые выплывали к Соколову из Мещанской Богадельни, после скончавшихся старичков.

Как-то зимой, в мороз, с гривенником в кармане, рылся я в стопках листочков: хотелось выторговать четыре, а Соколов давал три.

— Ну, достали Четьи-Минеи? — услышал я словно знакомый голос, и узнал *его* — в пальто с барашком, высокого, с усмешливыми глазами за пенсне.

— Еще не освободились наши Четьи-Минеи. Справлялся в богадельне, говорят — недельки две надо погодить, — сказал Соколов, отнимая у меня стопочку.

— Какая богадельня, что такое?..

— А который... Четьи-Минеи-то хозяин. Уж постараюсь, очень хорошие, видал я. С часу на час должен помереть. Эконом мне дешево бы, и я с вас недорого возьму. Вода уж до живота дошла, а всё не желает расставаться. Раньше мукой торговал, а любитель до книг.

Он усмехнулся, подышал на пенсне, протер и сказал мягко:

— Во-он что... как гробовщики ворот. Нет, пусть уж поживет старичок, не беспокойте... — и стал перебирать стопочки «житий».

Меня он не узнал или не приметил. Хотелось сказать, что у нас есть Четьи-Минеи, старинные, после прабабушки Устины. Хотелось бы подарить *ему*. Но они были под ключом в чулане, и я смотрел на них раз в году, когда проветривали чулан. Он отобрал стопочку «житий», заплатил и ушел, говоря: «а старичка вы, пожалуйста, не тревожьте, мне не надо». Было грустно,

что он не узнал меня. Я переглядел стопочку: ничего интересного, это я читал — про святых. Уже много после я понял, что было интересного в этих книжечках — для *него*. Много после мне вспоминалось, — отражение снов, как-будто, — когда я читал Чехова: вспоминалось в словечках, в черточках, что-то знакомое такое... Вспоминалась и неведомая птичка, кого-то всё спрашивавшая в камышах, на озере, после захода солнца: «ты-Никиту-ви-дел?» — и повторявшая себе грустно: «видел-ви-дел-видел»...

Август, 1934 г.

Алемон.

III. «Веселенькая свадьба»

Скорняк с нашего двора, по прозвищу «Выхухоль», выдавал замуж дочку Феню. Свадьба готовилась такая, что ахали: бал и вечерний стол, на Якиманке, в доме Клименкова — «для свадеб и балов», с духовой музыкой, с лавровыми деревцами в кадках и с благородными шиферами, как, например, студент Иван Глебыч, который пенсиз носит. И выдавал не за кого-нибудь, а за ученого землемера, — с серебряным знаком ходит! Полу-гариха — сваха в месяц свертела дело, а мы все думали, что Фене нравится Иван Глебыч. Все ходил к скорняку, доучивал Феню после Мещанского училища: нанял его скорняк развивать ее, чтобы была настоящая барышня, и они все читали книжки — «Дворянское Гнездо», и... разные. Принесешь скорняку Загоскина, а они грустные стишки читают — Надсона там или «Парадный подъезд»... а «Выхухоль» слушает и вздыхает над лисьим мехом. И под гитару пели — «Глядя на луч пурпурного заката», — нравилось скорняку. Горкин всё его пустодумом звал: «до лысины всё лыцаря-Гуака своего читаешь — вот и начитал дырку в голову». Бывало, сидим на рябине с Женькой, а они про «Дворянское гнездо» всё — вот и начнем дразнить «ах и-Феня-Феня-я — Феня ягода моя!» — даже язык устанет. Иван Глебыч камушками швыряет, — какие же вы неразвитые!» — а мы свое. Так и уйдет из сада. Феня была красивая: в русском костюме, темная коса, карие глаза, личико круглое, румяное, — ну, ягодка. Даже и Жене нравилась, а он всё говорил, что любовь может развратить, и не со-

вершишь подвигов, как Юлий Цезарь, и бырышень всё дичился. А тут, будто, и ревновал, сердился: «коша-чьи аму-ры... из ведра бы!..»

И так неожиданно — за землемера, собственный дом. Ну, домишка на огородах, в спарже там жулики ночуют... а, главное, с серебряным знаком ходит. И... де-сять тыщ чистоганом дает скорняк, на кошках под бобра капиталец какой накрасил!..

При мне и с Фирсановым рядились, с кондитером.

— ...и амуровые чтобы канделябры, для молодых.

Старик Фирсанов, высокий, в баках, похожий на лорда Гленарвана, из «Детей капитана Гранта», загибает пальцы:

— Амуровые канделябры — самое первое, сахарные голубки на плите — второе-с... рог изобилия, с конфетами в ажуре, и с зеркальцами, и в кружевцах, четыре рубли фунт, «свадебные», не Кудрявцева-с, а Абрикосова-Сыновья, — три?..

— Английской горькой побольше, Болховитин-прасол будет, обещался.

— Бу-дет-будет — всё будет! — говорит Фирсанов, скороговорочку, — и горькая, и хинная, и рябиновка... семи сортов. Буфет, холодное и горячее, соляночки на сковородке, снеточки белозерские, картофель пушкинский, свирепая каена, перехватывает глотку, — фирсановское открытие! Из рыбного закусона: семга императорская, балык осетровый, балык белужий, балычок севрюжий, хрящ уксусный, сигов трое, селедка королевская... икра свежая, икорка паюсная-ачуевская...

— Да уж пировать так пировать... событие такое...

как исторический роман! за благородного отдаю, серебряный орел на груди!..

— Хорошо их знаю. Пешком не ходит, всё на извозчиках ездит в клуб, все городовые козыряют. И еще... буфет прохладительный, аршады-лимонады, ланинская вода, зельтерская для оттяжки... фруктовый сортимент...

— Пришлет золотую карету под невесту! Шафера от него — учитель рисования, при орденах во фраке, — во дворцах рисовал! и еще, тоже со знаком, ихний. И у меня не жиже: студент в мундире со шпагой, в пенсio ходит... и еще, тоже из образованных, экзе-кутор из суда, со шпагой тоже, и двое про запас, Болховитина сынки, в перчатках, учащие.

Да уж бу-дет-будет — всё будет! говорит Фирсанов, закуривая сигару: только сигары курит.

Пригласительный свадебный билет с золотым обреза: «...пожаловать на бал и вечерний стол...» Вся Калужская перед домом: ноябрь, падает снежок. Подкапывают шафера в коляске. Перед ними картон с букетом. Оба в сияющих цилиндрах, в белых, как мел, перчатках, крылатые шинели, на груди что-то золотится. Лица румяные, с морозцу. В толпе говорят ар-ти-сты! Я бегу к скорняку. Шафера отбивают каблуками, кричат с порога «жинних ожидает в церкви!» — и всем делается страшно. Трещат скорняковы канарейки. Шафера сбрасывают шинели, вынимают белый букет в путающихся атласных лентах и подают невесте. Феня похожа на царевну: беленькая, во флердоранжах, светится сквозь вуальку, щечки чуть-чуть алеют. Женька вздыхает сзади. Вспоминается, грустно-грустно — «ах-Фе-ня-Феня-я...» Скорняк схватывает образ, скорнячихе суют кулич, Феня опускается, в вуальке. Скорняк, в сюртуке, похож на

старого барина; скорнячиха, в шумящем платье, вся обливается слезами. Женька шепчет: «нечего тут сыропиться». Вскрикивают за нами: «да Андрюша, образ-то вверх ногами!..»

Кричат шафера — «карету под невесту!» Ахают все — ка-ре-та!.. Атласная — золотая, окна — насквозь всё видно, в мелких подушечках, атласных, — будто играет перламутром. Двое лакеев, в белом, в цилиндрах с бантом. Шафера откидывают дверцу. Иван Глебыч — в мундире, с флердоранжем; светится рукоятка шпаги, перчатка откручена на пальцы, лицо в тревоге. Кричат — «Божье благословение, мальчика-то вперед пустите!» Андрюша, в бархатных панталончиках, вихрастый, с образом на груди, тычется на подножку, в страхе; под носом у него «малина», с медовых пряников. Тощий, высокий экзекутор, в мундире и со шпагой, держит невестин шлейф: студент нежно поддерживает Феню, словно она стеклянная. С треском захлопывают дверцу. Шафера прыгают в коляски, кричат — «с Богом!» Все крестятся. Скорняк корит Кологривова: «что ты мне под невесту подал! Бога у тебя нет, такое под невесту!..» Каретник, с заплаканными глазами, божится: «да... покойничков у меня эти не возят... а что Паленова вчера возили, так, это из уважения, не в счет». Скорняк уходит, махнув рукой. Говорят — «не к добру, покойничких лошадей прислал». Каретник ворчит: «приметил скорнячий глаз... лошади — не кошка, под бобрика не закрасишь».

В доме Клименкова горят окна. Мы с Женькой топчемся у ворот: рано, войти неловко. По двору пробегают повара, тащат с саней корзины, звенят бутылки. Музыканты приехали: пробуют, слышно, трубы. На боко-

вой подъезд, во дворе, выбегает Фирсанов, во фраке, с салфеткою под мышкой: «че-рти, куда заливное сунули?» Здороваемся с Фирсановым. — «Да что... опять, мошенник, нарезался, заливное никак не сыщем, а еще старший повар!» Поваренок кричит: «нашли заливно, в дрова засунута... а Семеныча снежком оттерли!» — «Ну, слава Богу... соли в мороженое бы не попало!» кричит Фирсанов и приглашает заправиться: закусочные пирожки готовы. Это наш придворный кондитер, правит все свадьбы, поминки и именины, еще от дедушки. Подъезжают на своих и на лихачах. Прасол вываливается кулем из саночек. Бегут барышни в белых шальках, духами веют. Подкатывают — мясник Лощенков с семьей, в карете, краснотоварцы Архиповы, Головкин-рыбник, портной Хлобыстов, булочник с семейством: Ратниковы, Баталовы, Целиковы, бараночник Муравлятников с сынками, Сараев — башмачник с дочками... — какие-то все другие, в хороших шубах. Молодые сейчас приедут. Сумерки, плохо видно. Кто-то высокий столкнулся с Женькой и извиняется, идет на подъезд за всеми. Женька шепчет: «ты знаешь, это кто?.. *он*, ей-Богу! да «дикобразово-перо»-то подарил я, *тот*, писатель!» Я не верю... не может быть! И радостное во мне: будто знакомый голос, баском таким: «ах, простите, пожалуйста...» Надо сказать Фирсанову, угощали чтобы... и скорняку, что писатель у него на свадьбе. Всё хотел — «живого бы писателя посмотреть, Загоскина бы». Но тот уж помер, а это живой писатель.

Входим под фонари подъезда в большие сени, с зеленой куда-то дверью. Пахнет парено-сладковато, — осетриной, сдобными пирожками, сельдереем, — особенным, поварским духом. Идем по широкой лестнице по

малиновому ковру. В высокой зеркальной зале, под мрамор с золотом, с хрустальными люстрами из свечей, — свадебный стол, «покоем». Белоснежные скатерти, тысячи огоньков хрустальных — от разноцветных пробок от бутылок лафитничков и рюмок, блеск от бронзы и серебра. Музыканты, на хорах, пробуют робко трубы, сияет медь. — «После «встречи», — кричит Фирсанов, — «Дунайские Волны»пустишь, а там скажу!» Потягивая бакенбарду, он оглядывает парад, что-то соображая пальцем. На «княжем месте» на серебре, — рог изобилия, из которого рушатся конфеты. «Амуровые канделябры» — по сторонам: золотые амурчики целуются под виноградом, выбросив в воздух ножки. Мы выискиваем по зале — где он. По стенам, сидят недвижимо гости, положив красные руки на колени или подпершись, самоваром, — все красноликие, в стесняющем крахмале в тугих сюртуках, в манжетах. Белоногие барышни смирно сидят с мамашами. Официанты несут подносы, звенят бокальчики. Фирсанов кричит в фортку: «как завидишь, — бенгальский огонь, пунцовый!»

Нет *его* и в малиновой гостиной: старые дамы только, сонно сидят на креслах. Нет *его* и в ломберной — угловой, и в малой, где «прохладительное» для дам... нет и в буфетной, с «горячим» и «холодным», где разноцветные стенки из бутылок, в которых плавают язычки огня, где всякие соблазнительные яства: пулярды в перьях, заливные поросята, осыпанные крошкой прозрачнейшего желе, сочные розовые сиги, масляно-золотистые сардины, хрящи белужьи, боченочки с зернистой, семги и балычки, салаты и всякие соленья, — хрусткая синяя капуста, огурчики — недоростки в перце, кисленькие гроздочки винограда, смородины красной венчики, «сви-репая каена», похожая на кирпичный соус, соляночки, сметочки, румяный картофель пушкинский... — и здесь даже нет *его*! Женька шепчет — «в прохладительный заглянуть, кстати и ананасной хватим?» Толстый прасол

сонно глядит на нас, будто хочет спросить, — «вы это... в котором классе?» Вьется официант с тарелочкой — «не прикажите-с!» Прасол тычет в бутылку с перехватцем: «а ну, огорчи, любезный», — английской горькой. Мы вытаскиваем сардинку, и роняем... — в окна вдруг полыхает красным, грохают медные тазы над нами, — играют «встречу»: приехали!

В дверях гостиной шелковые старухи спутались бахромой, толкаются локтями, сердито шипят — «успеете, пострелы». Мы проскальзываем у них под локтем. У входа в залу стоят новобрачные на розовом атласе. Фирсанов держит корзиночку, все бросают овсом и хмелем. Мы тоже бросаем, в Феню. Она — царица, только ужасно бледная, — не ягодка уж, а ландышек. Новобрачный — какой-то неприятный, чернявый, глаза косые, борода таким скребчком. Фирсанов кричит на хоры — давай! Официант с баками встряхивает салфеткой, и на молодых сыплются цветочки. Скорняк всплескивает руками, все расхватывают — на-память. Иван Глебыч шепчет на ушко Фене, и она дает ему розу из букета. Начинают просить другие, но Фирсанов вежливо говорит, что букет теперь целомудренный, а к разъезду... тогда растрепим. Говорят и смеются: пра-вильно! Иван Глебыч как будто недоволен, всё поджимает губы. Он перед молодым, красавец: высокий, волосы так, назад — как Рославлев у Загоскина. Женька ворчит: «косоглазого выбрала!» Я говорю — «скорняк это, не пожалел дочери несчастной». Фирсанов просит пожаловать в гостиную, сейчас будут поздравлять шампанским. Мы идем с Феничкой, но какая-то старушенция в «головке», выпятив зуб, скрипит: «нечего вам тут», — даже скорнячиху оттолкнула, Женька ей нагрубил: «а вы чего щипитесь ког-

тями?» Дамы шепчутся — шлейф уж больно задирают. Старушенция велит Ивану Глебычу опустить, но он не слышит. Лощенова говорит Аралихе: «убили бобра, днюет и ночует в картах, весь профершпилился». Молодых сажают на золотые кресла, Фирсанов разливает шампанское, все подходят. Мы чокаемся с Феней, она мило кивает нам, но я чувствую, что она несчастна. Говорит нам — «ах, милые». Вместе с горы катались. С косоглазым не чокались, давка очень. Скорняк спрашивает — «нравится тебе, знак-то какой, ученый!» Говорю — видели тут писателя, только найти не можем. Он не верит: «вы, говорит, это с шампанского», — смеется. А его нет и нет.

Сейчас будет «вечерний стол», куда только нас посадят, не на задний же, с музыкантами? Старшая сестра ухватывает меня: «мамаша зовет... испортил тебя Женя, как уличный мальчишка себя ведешь!». Я убегаю в залу. Почему это уличный мальчишка! Сам Фирсанов подлил в бокальчик, из уважения, сказал — «скоро жениться будете, без Фирсанова уж не обойдетесь». И Горкин всё говорил: «не корыстный Фирсанов наш, провинция всегда свежая и не в-обрез... играть твою свадьбу будем — его обязательно возьмем».

Фирсанов потягивает бакенбарду, оглядывает парад, — на сто на пятьдесят персон! Поправляет цветы под рогом изобилия, опять оглядывает, — «еще букетик! на крылья бутылочек добавить!» Играют «Дунайские Волны», вальс. Фирсанов машет, велит: «Черноморов марш» грохайте, кушать когда пойдут, а пока «Невозвратное» валяйте, поспокойней». Скорняк радуется — «какое же пышне богатство вида!» Для затравки, обносят пирожками, с икрой зернистой. За новобрачными, кото-

рые с утра говеют, — старушечки подают, косоглазого мать, оказывается! Говорят — коровница, молоком торгует, такая скря-га! Схватила, как когтями, три пирожка и зернистой икры черпну-ла... — официант даже зако-сил. Женька шипит: «карга, под шаль пирожок спу-стила, мешок у ней!» Фирсанов приглашает: «в буфетик для аппетита... все мужские персоны там». Идем сардин-ки попробовать, а там и не подойти, такое звяканье: мясники, булочники, мучники... Прасолов голос слышно: «Глебыч... огорчимся?..» Иван Глебыч чокается со всеми, подергивает пенснэ, и очень бледный. Хлобыстов сига гложет, пальцы всё об портьеру обтирает. И Муравлят-ников, и Баталов... — все с тарелочками, едят, на окош-ке буфет устроили, из графинчика наливают. Учитель рисования — под-шефе, козлиной бородкой дергает, при-топтыкает всё ножкой. Протодиакон Примагентов в углу засел, все его ублажают: надо ему загрунтоваться, мно-голетие будет возглашать. Огромный, страшно даже смотреть, как ест. Голосом лампы тушит! Женька про-сит какого-то: «пропустите, пожалуйста, закусить», а тот ему — «а в котором классе?» Фирсанов углядел — сиротами мы стоим — нам по килечке положили и ба-лычка. Прасол манит Фирсанова: «видал, бычки-то мои, бодаться уж начинают», — на завитых пареньков из практической академии, запасные шафера которые, — «женить скоро тебя возьму». Слышим — «Черномора» тарахают, — и нет Фирсанова. Валят гуртом, притис-нули нас в дверях. Иван Глебыч бежит вприпрыжку, пра-сол бухает в пол ногой — та... ра-ра... та... ра-ра... — под «Черномора», под барабан турецкий.

Отходит шумно «вечерний стол». Уже прочел по записочке Фирсанов — «за здоровье». За новобрачными

— старушеницю: «за здоровье глубокоуважаемой родительницы...» какой-то... кажется, Епихерии Тарасьевны. Уже поднялся протодиакон, и всё покрывает рыком — многая... ле...т-та-а-а-а!.. Расхватывают на память «свадебные конфеты». Старушениця так и вцепилась коршуном, цапнула полной горстью. Еще кричат молодым, — го-рько!.. горь-ка-а-а!.. Молодые целуются. И вот «По улице мостовой» играют, танцы сейчас начнутся. Иван Глебыч раскатывается, придерживая пенсне, — «господа кавалеры... ангажируйте дам!» За ним ковыляет прасол, — плывет саженками. Фирсанов перехватывает мягко: «в стуколочку-с... отец протодьякон ожидают». В карточной уж трещат колоды.

«Невозвратное время»... — и вот, Иван Глебыч с Феней, — молодой танцевать не хочет, — «бычки» за ними, подхватили сестер Араловых; накручивает землемер Лощенову, экзекутор выписывает с Коровкиной, винтит с присядцем — фалдами подметает — козлоногий учитель рисования подцепил рыбничиху Головкину — не обхватишь, сшибает стулья.

«Не шей ты мне, матушка, красный сарафан»... — кавалеры отводят дам в «прохладительное», к аршатам. Молодого утянули в стуколочку, по три рубля заклад. Иван Глебыч — без флердоранжа: нашли в буфете, Феня ему прикалывает. Он склоняется к ней и шепчет, она его ударяет веером. Обносят сливочным и фисташковым мороженым, несут подносы с мармеладом и пастилой — старушкам. Говорят — будут и пирожки с зернистой, потрясутся когда маленько. Старушениця задремала на диване. Женька шепчет: «на кресле мешок забыла, рябчики даже там... наплевал ей, и пепельницу еще... а не щипись!» Козлоногий зельтерской окатил кого-то, кричат — «платье изгадили!» Гремит — «ах, и сашки-канашки мои...» Иван Глебыч выносится на середину залы, мундир расстегнут... — «гран-ро-он!.. ле-кавалье, ф-фет-ля-

шен!..» Говорят — «шафер-то уж нагрелся». Козлоногий вырезывает вприсядку — «сени новые — кленовые — решетчатые!» Скорняк всплескивает — ух-ты-ы!.. Врываются вереницей из гостиной: Иван Глебыч, головой вниз, вытягивает Феню, за Феней, — вот разорвут ее, — головастый «бычок» с толстухой... «Тарелки» секут на хорах — «ах, вы, сени мои, сени...» — «бычки» скорняка подшибли, у каждого по две дамы, вниз головой несутся, — бодаются... — «ле-каввалье-э-... шерше-во-дамм..!» Около козлоногого гогочут, — какие-то рожи строит — нашептывает: — «ах, вы, сени мои, сени... так приятель мой по-ет... и своей мо-рдашке Фене...» — за хохотом не слышно. — «Вью-шки-и!!..» Музыканты полы ломают, бухает барабан — «вери-вьюшки-вьюшки-вьюшки...» — стучат по паркету каблуками, — «на барышне башмачки... сафьяновые!..» Полугариха — сваха, в шали, ерзает на ноге — «ах и что ты, что ты, я сама четвертой роты...» Бежим за другими в «прохладительный», допиваем аршады-лимонады, официант даже удивляется — «и как вас только не разорвет!» Феничка покраснелась, откинулась на спинку, веером на себя, смеется... Иван Глебыч, зеленый, волосы на лбу слиплись, глаза рыбы какие-то, галстук мотается, пенсне упало, — за руку всё ее, чего-то шепчет, качается. Дамы шушукаются — «страмота какая лезет, прямо, при публике... чего ж молодому-то скажут?» Екзекутор посмеивается: «клещами не оторвешь, сотенки скорняковы продувает, — в любви везет... протодьякон всем там намноголетил». Иван Глебыч совсем склоняется, а Феня веером его всё, хохочет... — с шампанского, говорят, от непривычки. Аралиха так и ахает — «до безобразия дойтить может!» Иван Глебыч дергает Феню за руку и кричит: «уйдем от них!.. ту-да... где зреют апе..льси-ны... и л-ли... моны!»... Феня старается вырвать руку, прижалась к столу, а он всё — тянет. Козлоногий топает на него — «вы пья-ны!.. извольте оставить молодую... особу!» Иван

Глебыч не отпускает Феню, качается, вскидывает пенснэ... — «к чорту... пьяней меня...» Кричат — «не выражайтесь при дамах!.. позовите же молодого... безобразие!..» Фирсанов упрашивает — «прошу вас, ба-ла не страмите... вас ждут в буфете...» Иван Глебыч выхватывает шпагу... — «прочь, ха-мы!..» Молодой схватывает сзади, Фирсанов вырывает шпагу и отдает косоглазому. Косоглазый кричит официантам — «убрать пьяного нахала!» Феня... глаза такие, будто чего-то увидала, вся бледная, руками отстраняет... кричит — «да что же это?!» — ее подхватывают. Официанты тащат Ивана Глебыча. Он кричит — «хамы... мою шпагу!.. погубили жизнь!..» Чтобы не слышно было, музыканты играют «Сени». Косоглазый размахивает шпагой... и — в форточку! — «Вот его место, на мостовой!» Мы проскальзываем на лестницу, сбегает и смотрим кверху. Ивана Глебыча волокут с площадки, торчит манишка, пенснэ разбила. Он вырывается и вопит — «молодую жизнь... ха-мы... на дуэль... темное царство!..» Косоглазый вверху кричит: «дайте ему, скотине!» Мне жалко Ивана Глебыча... И вот я слышу — будто знакомый голос, баском таким: «ве-селенькая свадьба!»

Возле зеленой двери — он, писатель! В сером пиджаке, в пенснэ, с грустно-усмешливой улыбкой. Кто-то еще за ним. Женька меня толкает — там он... смотри...» — но дверь закрылась.

После, мы прочитали, на карточке: «Антон Павлович Чехов, врач». Он жил внизу, под вывеской — «для свадеб и балов». Он видел! Может быть, и нас он видел. Много он видел. Думал ли я тогда, что многое и я уви-

жу — «веселенького», — свадеб, похорон, *всего*. Думал ли я тогда, что многое узнаю, в душу свою приму, как все, обременяющее душу, — для чего?..

Сентябрь, 1934 г.

Алемон.